

СТЭЦЬКОВА ЖИЗНЬ

Малолетние мои сыновья Марк и Жора едва поспевали за мной. Немудрено: июль, жара, середина дня. Сашка-дочурка осталась дома. На Украине лето знойное, воздух раскалённый. Моя пора. А детям тяжело. Но сами вызвались пойти на кладбище, на могилы пращуров. Я перечить не стал, пусть идут. Дело нужное. Дорога неблизкая, через весь посёлок, к Симферопольскому шоссе. Кладбище старое, заросшее, заброшенное. Кресты попадали, звёзды проржавели. Печальное зрелище. С трудом нашли могилы. Там мои прабабушка и прадед. И вот начались детские расспросы и мои рассказы о семье, о жизни да о смерти. И как-то незаметно рассказы эти к теме войны перекинулись.

За кладбищем мемориал.

– Пойдём, – говорю, – сходим?

Пацаны с интересом согласились. Продравшись сквозь заросли бузины, мы вышли к небольшой площади у самой дороги. Посреди неё Вечный огонь, скульптуры скорбящей матери и солдата, а за ними огромная длинная стена, мелко испещрённая именами.

– Что тут написано? – поинтересовались дети. Я им прочёл: «Вечная память бойцам, павшим в боях за освобождение посёлка Высокий!».

– Это что, все погибли вот где-то здесь, столько людей? – изумились они.

В глазах их стоял неподдельный детский страх.

– Да, ребятки, – ответил я, – были семьи, из них уходили на войну отцы, дети, братья. Уходили, чтобы, может быть, никогда больше не встретиться, не увидеть родных, близких людей. И кто-то из них остался здесь навсегда. Кто-то в другом городе или посёлке. Вот так-то. Понимаете, как это страшно? А ещё были инвалиды войны. Те, кто вытаскивал жребий жить, но жизнь их была исковеркана, перепахана войной. Я помню прекрасно, когда был таким, как вы, сколько их, несчастных, с разбитыми, изломанными судьбами было на улицах, в электричках, на базарах. Без рук, без ног, с искорёженными лицами, без глаз, обожжённых, глухих, полубитых. Тысячи.

Прошли годы, а я всё не забуду ни это посещение мемориала, ни оторопь и ужас в глазах моих сыновей, хоть как-то, хоть таким образом соприкоснувшихся с реальностью войны. А повесть эту хочу посвятить памяти уже ушедших инвалидов Великой Отечественной.

В посёлке Высоком, рядом со станцией, под акацией у чайной, помер вдруг посреди весны Стэцько Чалый.

Наталья-буфетчица вышла машину встретить, хлеб принять и перекурить заодно, а Стэцько сидит под акацией на своей дощечке с колёсиками, ног-то у него обеих с войны не было. Дело нехитрое, поди, каждый день так сидит. Кивнула ему Наталья, поздоровалась, значит. Смотрит, а Стэцько в одну сторону смотрит, не шелохнётся, и в руке недоеденный беляш зажал. Подошла она, за плечо слегка тронула, а он и завалился набок, только две медальки на груди «За отвагу» и «За взятие Берлина» звякнули. Любил их Стэцько, говорил – наград у меня много, но эти две самые дорогие, кровью и потом добытые. В память о Великой Отечественной и о друзьях моих, хлопцах молодых, не вернувшихся, носил, ношу и носить буду, пока Господь не приберёт.

Вот прибрал сегодня Стэцька Господь, в рай ли, в ад – кому это известно. Вроде он здесь, у чайной, а нет его. Не слышит он шум проезжающих электричек, не чувствует запахов весны, ни сирени не увидит, ни ландышей, ни пиву с подлещиком не обрадуется.

В общем, заприметила его Наталья первой, заголосила, как водится, по-бабьи, кто-то сбегал на почту позвонить, службу вызвать. Приедут заберут.

Так жизнь и кончилась, хоть и начиналась недавно. Сколько Стэцьку-то? Да лет пятьдесят кажись и было, ну, может, пятьдесят с гаком.

А родился Стэцько аккурат на Медовый Спас к закату лета в одна тысяча девятьсот двадцать первом годе на дальнем обедневшем хуторе под Лебедином, верстах в сорока от города. Хата Стэцькова, огороженная ивовым тыном, стояла на пригорке над прохладным ключевым ставком. Вокруг травы по пояс, цветы полевые, солнце припекает, да к горизонту уже клонится. Вдруг на весь двор младенческий крик раздался. Первый вздох, первый плач. Соседки-повитухи квохчут, хлопчут, бегают. Батка Чалый воды ключевой принёс. Человек народился, Стэцьком назвали, Степаном значит. Положили его мамке на пузо, обняла она его, прижала к себе и плачет, а он кутёнком в сиську ей уткнулся, покричал маленько и уснул. Было Чалых трое – мамка Стэцькова, Мария, батка Андрий, да колченогая свекруха Маруська, а стало четверо.

Ещё поутру Мария почуяла – рожать ей сегодня, как раз колокол в соседней деревне ударил к заутрене, словно благую весть ей, Марии, возвестил.

– Андрий, – позвала она мужа, – началось. Туго мне, тяжело, боль подбирается внизу живота да поясницу ломит. Вся в испарине, душно, жарко, принеси попить.

Андрий принес любимой жёнке ледяной воды в глечике. Мария сделала несколько глотков и легла. Немного отпустило. Потом отпустило вовсе. Экое облегчение.

Андрий засобирался в деревню к церкви, где весь люд нынче, тётки-повитухи привести. Марию на мать оставил, идёт, торопится, а в коленках слабость – душа болит.

Наказали ему тётки рушников чистых из шкапа достать, воды холодной и разогретой приготовить. Обещали со службы явиться и быть уже с Марией сколько на то надобность будет. Так и сделали.

А к полудню уже схватки у Марии не то что прежние, утренние, а куда как безжалостней. В глазах темнеет, во рту сохнет. Стонет она, болезная, крик сдерживает, губы кусает. Повитухи крутятся около неё, помогают, а Марии кажется: разрывает её изнутри.

– Ну, вот, Марийка, уже головка, плечики появились – услышала она вдруг. – Ещё чуть-чуть, самая малость. Давай, золотко, натужься.

И вдруг ощутила Мария бездонное облегчение, покой ворвался к ней и радость. А в руках у тётки Матрёны увидела она скользкий комочек, весь измазанный белым. И вдруг этот комочек закричал, да так пронзительно, что на весь двор сквозь открытые окна слышать было.

Стэцько был первенцем. За семь лет Мария родила ещё пятерых – трёх девочек и двух мальчиков, да оба померли. Так и стал Стэцько старшим братом трёх сестёр. Радовался он двум последышам, счастлив был не меньше родителей, что будет у него два брата, но смерть их, сначала Петруся, а затем Васыля, стала первым его, Стэцьковым, горем. Неуёмным, злым, безутешным. Он часто уединялся у двух сиротливых могил, поросших травой, под покосившимися крестами на краю кладбища, у поля. Бывало, напридумает всякого, как бы он с братьями рыбачил на ставке или помогал бы с ними мамке сносить бельё к мосткам на стирку, или батьке косить на лугах. Грустно было ему в такие минуты и одиноко, иной раз плакал Стэцько детским искренним плачем, и только белогрудый пёс Бурка с хвостом-бубликом был ему утешением.

Так и проходили дни, заканчиваясь угрюмыми вечерами. Лето сменялось холодной осенью, а осень белой вьюжной зимою. В хате зажигалась лучина, топилась печь, на обветшалый стол выставлялись убогие харчи. Девочки шалили, их успокаивали, не баловали, однако, ничем, да и нечем-то было, разве что только словом. Любили их батька с мамкой, ласковы были, и Стэцька любили не меньше дочек. Колченогая Маруська занемогла как-то и долго хворала, а к весне на осьмой год Стэцьковой жизни померла. Схоронили её рядом с внуками. И одна только радость нагрянула вдруг после. Приехали мужики на машинах и тракторах, что-то стали копать, строить, какие-то столбы ставить. Говорят «лекстричество будет по плану ГОЭЛРО». Что за лекстричество? А хто ж его знает. Сказали, ночью светло, как днём, и завсегда выключить можно. В общем, удобствие. Так оно и вышло. Жить стало лучше, жить стало веселее – со светом-то, поди, не впотьмах.

В тот же год, когда померла бабка, определили Стэцька в школу. До неё неблизко было, в деревне, где сельсовет и церковь. И ходил Стэцько в неё исправно, нравилось ему там. Был он хлопцем любознательным, толковым. Даже Степан Никитич, директор, присланный из города, самолично говорил ему: «Учись, Стэцько, добрэ. Из тебя-то, глядишь, и толк будет». И он учился аккуратно три года, пока не настал голод свирепый, лютый, страшный. Кто что

поговаривал об этом. А более всего молчали, боялись. Померли тогда многие. Да что там многие, целыми хуторами помирали, деревнями. Дома опустели, стоя печально с забытыми окнами. Кто смог, ушёл на все четыре стороны. А где счастливая сторона, какая из четырёх, кто знает? Где сыскать счастье, да и каково оно? Пожалуй, что в тёплой баланде из картофельной кожуры. А куда идти? Некуда, если от Украины до самого Урала и Южной Сибири, от Поволжья и до Казахских степей шаром покати, и ботвы не собрать. Повсюду горе, голод и смерть. Померла в эту годину младшая Стэцькова сестра Оксана. Выхаживали её как могли, да не выходили. Добавилась ещё одна могилка на погосте среди могил Чалых.

Голодно жили, тяжко, в нужде окаянной, да минуло лихолетье. Организовали колхоз в деревне, где школа Стэцькова была. Батька его с мамкой раздумывать не стали, записались в одночасье. Жизнь как-то, хоть и бедно, но наладилась. В деревне клуб открыли, люди стали на танцы собираться. Менялось всё постепенно, а уж для тех, кто гол был и бос, зело к лучшему. Те, кто побогаче, чью скотину с птицей да мельницы с токами в колхоз зачислили, сетовали, а кто и голову поднимал. Их многих повыселяли после, а кого и к стенке поставили.

– За что? – спрашивали друг друга селяне.

– А нехай не болтають чего лишнего, – сами себе и отвечали.

Случалось, доносили по злобе куда надо. А потом, глядь, соседи-то и исчезали. Вчерась был, а сегодня нету. И через месяц-другой где-то на завалинке, поминая, говорили: «Як и не було». А что жизнь человечья? Вон в хате у Чалых сколько народу было, сколько померло, а всё одно пятеро. Молодых много, ещё нарожают, дурное дело – нехитрое.

Ну а жизнь что? Летела себе паутинкой по ветру. Свадьбы-похороны, свары да братания. По воскресеньям столы во дворах накрывать стали, соседей звать. Горе-радость завсегда разом. Оно, конечно, по-соседски и насплетничают за глаза, но ежели помочь-выручить надо, то всегда есть кто рядом. Тот, кто вчерась сплетничал, сегодня рубаху сымет и отдаст не задумываясь. Иначе не по-людски. Хотя всякое бывало, когда жили впроголодь. Но былые обиды позабылись, а новых вроде и не сделалось.

Морозами и вьюгами пронеслись шестнадцать зим, тёплыми ветрами отшумело шестнадцать вёсен, перелётными птицами пролетело шестнадцать лет. Исполнилось Стэцьку семнадцать. Стал он видным хлопцем, статным, ладным. С чёрными завитыми усиками, пушком на румяных щеках, курчавою головою, карими глазами и кротким потупленным взглядом. И вот влюбился он впервые. Крепко, намертво и ответно. София, душа его, была под стать Стэцьку. Краса-девка, черноока с длинною косою, взгляд не отвести, умна и добродетельна. Одна лишь заноза стала меж них непреодолимым порогом – была она из безбедной семьи. Дом – полная чаша, из кулацких недобитков. Вот и казалось бы, всё порядком, ан нет. Наказал батька дочери: – Знаться знайся, хлопец он хоть куда и, по всему видать, порядочный, но нам не ровня. И в мыслях чтоб ничего не было. И смотри, девка, не дури, а то меня знаешь.

Вот вам и весь сказ. А что делать? Так и любили они друг дружку то у ставка сидючи, то по лугу гуляючи. Но чтобы между ними чего было, боже сохрани. И целовались-то всего ничего.

Не чаял души Стэцько в своей Софийке, ложился и просыпался с нею, бесконечно шепча её имя, и она отвечала ему любовью. Сколько парубков на неё ни заглядось, никто ей не был нужен, не было ей никого желанней и родней. Любую минутку всегда они были вместе, как два белых лебедя. Мечтали часто: что-то впереди ждёт их, не мысля себя друг без друга. И хоть батька Софии стоял великою преградою их счастью, но надежда умирает последней – а вдруг смилостивится? Да и время лечит, у кого же не дрогнет сердце, завидя такую любовь искреннюю? Так и жили они навроде вместе, но порознь, трогательно друг дружку любя и воркуя промеж собою, пока не пришло воскресенье 22 июня 1941 года.

Часу в седьмом сели вечерять. Ели молча.

– Беда-то какая, лыхо-лышенько, – всхлипнула Мария, и разревелась в вой.

Никто не стал её успокаивать. Андрий глядел в одну точку, долго глядел, потом пристукнул слегка ладонью по струганному столу и повернулся к Стэцьку:

– Вот що, сынку! Дид твой Степан пропал без вести в Первую Мировую, бо з нимцем бился, а теперь, значит, наш черёд. Судьба такая, що зробить? Завтра поедем в город до военкомату.

И уже скоро провожала Мария с дочками их на войну. Шла плача за удалявшейся в пыли полуторкой. А в полуторке почти вся судьба её – сыночек родненький Стэцько да муж Андрий, единственный и ненаглядный. Увидит ли их вновь, будут ли счастливы, хоть когда-нибудь, хоть один день? Слёзы застили глаза, душили, не давали продыху. Мария опустилась на обочину и захлебнулась неистовым, словно последним, стоном. Сёстры обняли мамку и тоже плакали, целуя и успокаивая её.

Машину трясло на колдобинах, ком стоял у Стецька в горле. А слёзы все он ещё вчера выплакал. Тяжко ему было, вдвойне тяжко. Вчера попрощался он со своею любовью. Отправился в деревню прямо в дом к Софии, не постеснялся и не побоялся строгого батьки. Взошёл на крыльцо, постучал, спросил у отца дочку. Тот позвал. Спустились оба к тыну. Обо всём рассказал Стецько Софийке, о любви своей, о том, что нет и не будет для него никого краше и желанней. Да она знала всё, и сама об этом тоже не раз Стецьку говорила. Но ведь никогда они не расставались прежде, ни на один день, а теперь вон что, война пришла костлявой старухой-смертью. Здесь, у тына, прощаясь, поцеловал Стецько Софию впервые как положено, долгим, сладким поцелуем в губы. Поцелуем жарким, супружеским, и на слезах замешанном. Плакали оба, да не было выбора. А вопрос-то вертелся всё тот же: свидимся ли? Оставили друг другу карточки и расстались: не хотел Стецько, чтобы София на завтра к машине шла, было бы уж совсем больно, невыносимо.

В военкомате Лебедина сын с отцом расстались, думали – на время, оказалось – навсегда. Андрий погиб вскоре в боях Донбасской оборонительной операции холодной сырою осенью, когда сизые туманы заволакивают собой

горизонт, когда опадают последние листья, отяжелевшие от дождя, а над опустевшими полями вьются кругами вороны, когда пахнет сырой землёй и прелой, терпкой, и уже умершей листвой. Чёрной тучей лёг этот день на семью Чалых.

А пока стоял июль сорок первого года. Попрошавшись с отцом «до скорого», смахнув с чёрной поросли на юных щеках сыновью нескую слезу, ехал Стецько напрямёхонько на запад в сторону Коростеня, где шли бои и где предстояло стать солдатом своего Отечества.

Как страшен первый бой. До одури, до дрожи, до тошноты, до рвоты. Когда взвизгивают пролетевшие над головой пули и сшибают ветки склонившихся над окопами деревьев. Ты не чувствуешь ни холода, ни мокрых, чавкающих в сапогах, ног, руки окоченели от страха и напряжения, во рту пересохло, и только одним можно облегчить себе минуты боя – диким, истошным, нервным криком, когда высовываешься из окопа и открываешь огонь. Но надо выстоять, во что бы то ни стало, как угодно, любой ценой, ведь батя тоже где-то сейчас в окопе, как ему, не выдюжив, смотреть после в глаза? А ещё за спиной мамка с сёстрами, Софийка, соседи, да что соседи? Вся страна.

Ко всему человек привыкает. И закрутилось для Стецька с того дня колесо войны, словно под гору понеслось. Стал он взрослым вдруг, в одночасье. Умел себя приструнить, если надо. И лишь думки о доме и Софийке любимой не давали ему покоя, терзали душу, вселяли сомнения и тайный страх.

Но нёс он любовь в сердце сквозь все ненастья, получал письма от родных, от своей ненаглядной, целовал их и в бой шёл с ними. Может, так и выстоял. Мария ничего не написала сыну о похоронке на отца. Сама выла волчицею, а сыночка родного пожалела. Иные из хлопцев посмеивались да подтрунивали над ним: «Живёшь, хлопец, снова, каждый день может последним стать, а сиськи толком и не нюхал, и под подол бабам не лазил, носишься со своею кралей. Иные вон походно-полевых жён заводят, а ты? Дурачина». Но Стецько лишь улыбался в свои юношеские завитые усики, да отмахивался – дескать, каждый живёт по своему разумению. Кесарю кесарево, а слесарю слесарево. И лелеял он свою любовь, и верен ей остался.

Помотала Стэцька война по фронтам и госпиталям. Дважды был он легко ранен, но вдалеке от дома, и от отпуска отказался. Не пристало ему, козацкого рода хохлу, Стэцьку Чалому, пока хлопцы-однополчане сражаются, дома в хате отсиживаться. А однополчанами тогда была вся страна.

Настали наконец времена, когда, глубоко отступив, до самой Волги, отдав Белоруссию и Украину, исподволь набирая силы, стала Красная Армия шаг за шагом продвигаться на запад. Жилами наизнанку, с комом в горле, в грязи под дождями, в ненастье и холод поворотил солдат свой путь туда, откуда всё начиналось. На груди Стэцька красовалось уже несколько наград за боевые сражения, даже медаль «За отвагу», но тяжким грузом, страхом, почти отчаянием ему явилось вдруг отсутствие писем с родной стороны. Ни одного – днями, неделями, месяцами. Всякий раз, когда привозили почту, сердце уходило в пятки, а после, когда вновь ничего ему не было, – подкашивались ноги, на-

ступала слабость, хотелось пить, а в душе возрастала и выливалась через край дикая, неприкрытая, хищная ненависть к врагу. Он молчал, был сам наедине со своим горем, и старался себя успокоить – ну мало ли, может, в эвакуации, может, потеряли адрес, может, с почтой что-то не так, или где-то по дороге. Старался себя успокоить, но не получалось. И воевал с остервенением.

*С боем взяли мы Варшаву, город весь прошли,
И последней улицы название прочли,
А название такое, право слово, боевое:
Берлинская улица...*

К 20 апреля 1945 года Стэцько был на берегах Одера, а неделей позже в составе Третьей армии 1-го Белорусского фронта штурмовал и брал Берлин. Ах, как же он был окрылён, счастлив и горд наступающей Победой, она была на ладони – не сегодня, пусть завтра, может, самое позднее, ещё через день. Потом – домой, в семью, к Софийке, учиться, работать, жить и дышать полной грудью, растя своих уже детей, их с Софией. Но бедой ему обернулся этот победный, долгожданный, выстраданный день в проклятом городе на Шпрее.

Это был последний день войны, последний из нескончаемых тысячи четырёхсот восемнадцати, когда Стэцька нашла предназначенная ему мина. Ведь кто-то же делал её на каком-то заводе, потея у станка, шлифовал, паковал, доставлял, устанавливал. Зачем? Для чего? Чтобы отнять у молодого, едва начинающего жить хлопца полноценную жизнь? Радуйтесь, торжествуйте, празднуйте – получилось, отняли. А ведь не он пришёл к вам, вы пришли, а он здесь, чтобы уничтожить вас, тех, кто пришёл с такими вот минами, гаубицами, пулемётами, танками, гранатами. Вы пришли и вы отняли у него почти всё, да не почти, а всё.

Какой-то оглушающий хлопок, тупой удар, и белым ярчайшим светом вдруг ослепило глаза, мгновенная непереносимая, чудовищная боль, которая вдруг исчезла, свет выключился, и наступила тьма, вечная, непроглядная. А после не осталось ничего. Стэцько лежал на искорёженном взрывом тротуаре у полуразрушенного здания с надписью «Lebensmittel», неуклюже подломив искалеченные ноги, упираясь лицом в камни, а из растерзанных сапог струилась тёмная, почти чёрная, смешавшаяся с пылью кровь.

Вдруг он раскрыл глаза. Занавешенные окна, белая стена, потолок, латунная пятиглавая люстра и мухи, вьющиеся под ней. Летали вокруг не переставая, беспорядочно кружась чёрными точками.

Весёлый солнечный луч играл на его лице. Сквозь прозрачные занавески лился тёплый весенний свет. Шумело в ушах, металлическими тисками сдавливало голову, безумно хотелось пить, губы слиплись, казалось, были накрепко сомкнуты. Стэцько что-то хотел сказать, но сквозь плотно закрытый рот вырвался лишь слабый, немощный стон. Он снова закрыл глаза и вскоре уснул.

Кто-то ласково гладил ему лоб, потом прикоснулся губами к вискам, будто проверяя, нету ли жара.

– Как же так, мальчик ведь ещё совсем, солдатик, родимый? – услышал он сквозь сон бархатный женский голос.

Силясь, он открыл глаза. Перед ним поплыли знакомые окна, выбеленный потолок и стены, люстра висела над кроватью, а суетливые мухи летали под ней всё теми же чёрными точками. На сей раз, однако, на него смотрела немолодая женщина в белом платке с утомлёнными впалыми глазами. Лицо её не было красивым, но величественным и одухотворённым. Пряди седеющих волос были забраны под платок. Она улыбалась Стэцьку материнской улыбкой, не переставая повторять – как же так, как же так? В глазах её стояли слёзы.

– Сыночек, Стёпушка. У меня был тоже сын и тоже Степан, твоих лет. Погиб в сорок третьем. Один-единственный мой сыночек. Ты хоть выжил, остальное неважно. Война закончилась. Всё будет ладно. Вылечишься, окрепнешь и поедешь домой. Там не будет уже ни пуль, ни снарядов, ни взрывов. Ты же деревенский? Будут аисты у вас на полях. Мир будет. Наконец будет мир.

Она взяла его руку в свою и прильнула к ней губами.

– Вы кто? – шёпотом спросил Стэцько, услышав себя со стороны и не узнав свой голос.

– Анна, сестра милосердия, – улыбнулась женщина ему в ответ, – хотя так не говорят уже давно.

Она наклонилась, поцеловала Стэцька и тихо вышла из палаты, прикрыв за собою дверь.

– Що, хлопче, погано тобі? Як же це сталося? Кажуть в останний день на мине пидирвався, – услышал Стецько знакомый родной говор.

Он, как мог, огляделся. Рядом стояло ещё несколько коек. Кто-то тихо, еле слышно, постанывал.

– Та ты, парубок, не журись. Головне, що живий, а що ног нема, так то тьфу на це, – не унимался сосед.

– Э-э, зачем ты так? Не видишь разве, человек только мало-мало глаза открыл, – обрубил его кто-то.

Стэцько лежал на спине с отсутствующим взглядом, не понимая, кто и о чём говорит. Эти две фразы повторялись в его сознании одна за другой множество раз, были назойливы, словно мухи, летающие под люстрой. И вдруг он понял: это сказано ему и в его защиту. Холод и дрожь пробежали по спине. Из последних сил он схватил край одеяла и отдернул его в сторону. Вместо ног, всего ничего, торчали две короткие, перебинтованные и взятые в бандаж культы.

Перед ним пронеслась вся жизнь – четыре года войны, София, коллективизация, голод, школа, колченогая покойница бабка Маруся, сёстры, батька с мамкой, хата, ставок, любимый пёс Бурка, подсолнуховое детство. Он лежал, и не было слёз плакать.

Зашла Анна, села подле Стэцька на табурет:

– Ну, что ты, Стёпушка, плохо тебе? Не лучше?

Он заглянул ей в глаза, белёсые, выплканые за годы войны, погрозил

пальцем, силясь сказать: «Я буду жить», потом взял её за руку и добавил: – «...но как, Анна? Как?». От неё он узнал, что находится в госпитале неподалёку от польского города Пётркув, но вскоре будет переведён домой, на родину, на стационарное лечение.

Несколькими днями позже с утра в палате появился начальник госпиталя, подполковник Таращанский Савелий Моисеевич. Это был уже лысеющий, интеллигентной, весьма располагающей наружности человек лет сорока, среднего роста, подтянутый и широкоплечий. Он поздоровался со всеми, без панибратства, но уважительно, подошёл к Стэцку, представился и поздоровался с ним ещё раз персонально, протянув руку. Потом мягко, по-отечески сообщил, что в ближайшие дни, когда будет подготовлен транспорт и команда, его, Стэцка Чалого, переведут в Смоленский военный госпиталь, где он пройдёт окончательное лечение, после чего будет отправлен в санаторий на реабилитацию.

– Так что готовьтесь, Степан Андреевич, отбыть на Родину. Дома и стены лечат, выздоровеете, восстановитесь, всё будет хорошо, – сказал Таращанский, встал, пожелал Стэцку здоровья и удачи, крепко пожал ему руку, отдал честь и вышел, попрощавшись со всеми.

К началу августа Стэцка перевели в Смоленск. Какое-то невыразимое осознание возвращения домой. Неважно, что госпиталь, что ты в палате с такими же калеками, что может что-то мешать, даже раздражать, но это сладостное ощущение покоя у себя, в своей стране, вселяли в него могучую силу. Он быстро шёл на поправку, окреп, а ночью оставался один на один с собой и своими думками.

Когда ветки старой липы, поддаваясь лёгкому ночному ветру, вкрадчиво скребли по оконному стеклу, он не спал, глядел на пляшущие отсветы на потолке и безмолвно кричал от горя и тоски. Где его мать с сёстрами, где отец, что с Софией, да и как ему жить дальше? Ночь являлась ему чёрной непреодолимой стеной из бесконечных вопросов, ни на один из которых он не находил ответ. Скорей бы, скорей бы из госпиталя в санаторий, пройти реабилитацию и домой. Там будет видно на месте. Сон забирал его в свои объятия далеко за полночь, ближе к утру, когда наступала рассветная прохлада и небо на самом краю, у горизонта, становилось чуть заметнее. Так прошло ещё полтора месяца.

Наступила осень. Угрюмые тучи стали чаще заволакивать пронзительно голубое небо, солнце всё реже освещало своим уже прохладным светом передевшие в багряное многоцветье рощи. Крупные капли дождя бились о стекло, будто пытаясь проникнуть внутрь палаты, а сильные порывы ветра глухо шелестели опадавшею мокрой листвой. Но изредка выдавался солнечный денёк, когда почти все обитатели санатория выходили в раскрашенный осенними цветами парк, разбредались по аллеям, сидели на скамейках, курили, играли в шахматы и домино. В такие дни солнце светило ярко, до боли в глазах, а лёгкий ветерок уносил в неведомые дали оборванные паутинки лета.

В санатории Стэцка поселили в восьмиместной палате. Все были вновь прибывшими, кто откуда. Разных возрастов. Иные в отцы ему годились. Жили

весело, с шуточками-прибауточками, хоть и в тесноте. А с другой стороны, какая же здесь после фронта теснота? Царские хоромы, пусть не царские, так княжеские. Прикроватная тумбочка, общая на две койки. Сосед его, Вачаган Норазян по прозвищу Вачик, карабахский армянин, напротив узбек Алишер Ачилов из Карши, ещё был белорус Серёга Бардашевич, весёлый хлопец, самый младший, остальные из России, кто из какой республики. Стэцька, как водится, хохлом прозвали, но не в обиду, а по-братски, да он и сам так себя называл и гордился этим.

Серёга – хлопец весельчак. Руки целы-невредимы, и слава Богу. Гармонь с ним через все фронты прошла, от Сталинграда и до Кёнигсберга. Вот и здесь, в санатории, она его первая подруга – то грустная, то весёлая, то заводная или задумчивая. И часто, почти каждый вечер, собирались мужички в их палате – кто на костылях, кто на инвалидных колясках, в гипсе и бандажах, послушать Серёгу. А выводил он лихо на своей трёхрядке. Народу всё больше собиралось, коридор мал был, даже на лестничной клетке порой не всем места хватало. Кое-кто покуривал. Сёстры попервах гоняли курильщиков, ругались, главврачу санатория жаловались, а он возьми да и скажи: дескать, чем браниться и жалиться, поставьте им лучше в лестничные пролёты пепельницы, и пусть себе курят хлопцы с миром, проветривать только не забывайте. Так и повелось.

А начинал всегда Серёга с чего-то грустного, есенинского. После набирало обороты веселье. Народу в палату набивалось не протолкнуться, все койки заместо кресел в зале. Серёга, знай, бывало, как развернёт лезгинку!.. Вачик её, сидя в своей же кровати – ноги-то у него не было – танцует.

– У моего соседа Гагика, – говорит, – друг ингуш, мы ездили туда на свадьбу. Настоящую лезгинку так танцуют.

Все хлопают в ритм. И сёстры придут, смотрят, улыбаются и плачут. От радости и от горя. А как Серёга устанет, все просят: «Вачик, спой». У него голос красивый был, тенор. Бархатный и мощный. Вачик ждал, пока все успокоятся, и уже в абсолютной тишине исподволь, тихо-тихо, как армянский дудук, начинал:

*Ов, сирун, сирун, инчу мотецар,
Сытыс гахтникы инчу имацар.
Ми анмех сиров ес кез сиреци,
Байц ду анирав давачанецир.*

Песня за сердце брала, и слов знать не надо. Души и мелодии достаточно. Но слова все знали, не только по-армянски, но и о чём она:

*О красавица, ты за грех какой
Сердца бедного унесла покой?
Ведь любовь моя так чиста была,
Почему её ты предать смогла?*

Но столкнёшься вдруг с горькою судьбой –

*Всю печаль твою разделю с тобой.
И тогда уже, о душа моя,
Никогда тебя не покину я...*

Время шло незаметно. Стэцько набирался сил. Всё пробовал ездить на дощечке с двумя толкачиками в руках. Раны болели, рукам тяжело было, на ладонях появились мозоли. Постепенно привыкал: сползал с койки на костылях, усаживался на дощечку, закреплял культы ремнями наискосок и старательно учился. Сначала по палате, после в коридоре, а к декабрю уже сносили его хлопцы в парк, и там он гулял, отталкиваясь обеими руками от асфальта очищенных от снега аллей. Гулял всё больше с Вачиком, сдружились они, крепко сдружились, не разлей вода. Интересно им вдвоём было, занятно беседовать да и, по всему виду, музыка их объединяла. Иногда присаживались на скамейке и морозным днём затягивали какую-нибудь песню на два голоса. Но Стэцьку было этого мало, взялся он у Серёги учиться на гармонии играть, и быстро худо-бедно выучился. Эх, жаль, своей гармонии-то не было.

Так и подобралось время к Новому, 1946 году. «Господи, сколько же я не был дома и не видел родных, – мучился Стэцько по ночам, – что с ними, где они и как?» Его страшила встреча с Софией, как отнесётся она к нему, безногому, немощному инвалиду. Алчный траурный червь пожирал его изнутри. Но наступало новое утро, ближе к рассвету он забывался крепким сном, а днём вновь шумная жизнь среди таких же, как и он, обездоленных. С Софией он решил не встречаться. Подумал: если кинется она его искать, найдёт сама, пусть видит, каким он стал, и примет решение. Ну, а нет – значит, бобылевать по жизни до скончания веку. На том и порешил. Трудно ему было, горько и страшно, ну а что делать-то? Не являться же переполовиненным и не быть отвергнутым.

Счастливым и радостным был Новый год. С шампанским и бутербродами. Первый Новый год после войны. Это был праздник Победы. Победы жизни над смертью, надежды над безверием, будущего над прошлым, которое никогда больше не должно повториться. В коридоре установили ёлку, сёстры принесли из дому игрушки, у кого что было, кое-что сделали сами, вырезали из бумаги. Ставили и украшали все вместе. Серёга устроился на табурете рядом, и знай играл себе всласть. Стэцько сидел тут же на своей дощечке и брал иногда гармошку сыграть и спеть.

После праздника вновь наступили санаторные будни. Дни тянулись однообразно, смеркалось рано, за окном шумели метели. Сегодня было похоже на вчера, а завтра являлось таким же, как сегодня. Но вот в один из вечеров открылась дверь, вошла сестра, держа в руке лист бумаги, и неожиданно произнесла: «В четверг два человека, Чалый и Норамян, на выписку, готовьтесь, мальчишки. Ещё пару дней – и домой». Вот это слово «домой» ударило Стэцька наотмашь, словно чем-то тяжёлым, почти оглушило. Сердце забилося испуганной птахой, выскакивая из груди, в висках застучало, стало не хватать воздуха.

Два дня тянулись вечно, часы в коридоре, казалось, остановились. Лишь

к вечеру вторых суток все бумаги были готовы. Другьям позволили остаться до утра. Всю ночь Стэцько не сомкнул глаз, Вачик ворочался с боку на бок, бормоча: «Вай, мама-джан!». А утром, даже не позавтракав, оба расцеловались со своими новыми однополчанами по палате, как они теперь называли друг друга, попрощались с сёстрами и врачами. Стэцька снесли вниз, Вачик открыл дверь в холодное ветреное утро февраля, и оба ушли сиротами по аллее прочь. Мела позёмка, Вачик едва справлялся с костылями, а рядом колесил Стецько на своей деревянной дощечке, пристегнувшись к ней крест-накрест кожаными широкими ремнями и отталкиваясь толкачиками.

Вдруг, словно по команде, оба остановились и оглянулись. В серой морозной мгле они видели окна своей палаты, а в них всех оставшихся и прильнувших к стеклу однополчан – с перебинтованными руками, перевязками, на костылях. Они стучали, махали на прощанье руками. Но стука не было слышно. Мело, дул ветер, да и далеко уже было. Вачик помахал в ответ костылём и что-то закричал по-армянски, а Стэцько развернулся на своей дощечке и, словно на сцене, разведя обе руки широко в стороны, поклонился до самой земли.

– Я это запомню на всю жизнь, – сказал Стэцько Вачику.

Потом они шли молча.

– А что ты им кричал? – поинтересовался Стэцько.

– Я вас никогда не забуду, – ответил Вачик, остановился, взял оба костыля в одну руку и свободной вытер со щеки накатившуюся слезу.

А ещё через минуту они скрылись за порталом санаторных ворот.

Полуторку трясло во все стороны. Под брезентом набилось много народу. Ехали в Брянск. Из Брянска до Лебедина всего ничего, а оттуда уж совсем рукой подать. Ехали, прыгали на колдобинах, как на необъезженном жеребце. Кто курил, кто балагурил или в свои мысли погружён был. Вдруг затянули громко да весело:

– Розпрягайте, хлопцы, коней

Та й лягайте спочивать.

А я пиду в сад зелений,

В сад криниченьку копать...

И машина, словно пританцовывая и веселясь, катилась среди лесов и снега на юг:

– Маруся, раз-два-три, калина,

чьорнявая дивчина

в саду ягоду рвала.

Вачик сидел на скамейке у борта, Стецько возле него на своей дощечке.

– Я тебя всё равно не отпущу. Заедем, побудешь у меня, – перекрикивал песню Стэцько. – Крюк невелик. Сил наберёшься, потом я тебя до Харькова провожу. Харьков город большой, хлебный. Оттуда в любую сторону уедешь. Посажу тебя на поезд. Вот тогда и распрощаемся до следующего года.

Пересев в Брянске на попутку, добрались до Сум. Переночевали на вок-

зале, и до полудня уже были в Лебедине. И вот там Стэцько вдруг ощутил, понял, почувствовал каким-то неведомым животным чутьём, что едет он в никуда. Все его надежды были лишь надеждами. Он их берёт, лелеял, ими жил. А теперь он стоит перед дверью, отворив которую, попадёт в реальность, такую, какая она есть. Он был готов к ней, хотя не хотел верить, не мог, но уже ощущал её.

Серая мгла укрыла землю. Дул колючий ветер, позёмка кружилась причудливыми вихрами. Там за холмом откроется сейчас родной хутор, появятся крыши хат и ставков под их домом. Но не было ничего. Снежная бело-серая пустыня и остовы полутора десятков домов. Никого. Выбеленные, обожжённые печные трубы торчали среди руин. Ветер заметал их снегом. Кое-где видны были куски стен, лохмотья вмятой в землю обгоревшей соломы и обломки чердачных балок. Вся земля вокруг изрыта воронками. Хутор умер, погиб, исчез, как исчезла последняя надежда бедного двадцатичетырёхлетнего Стэцька. Он остановился, долго смотрел на обезлюдевший островок былой жизни, где когда-то был беден, но, как оказалось, счастлив.

Снял шапку и, сжав кулаки, дико закричал неистовым воплем гибнущего человека. Он плакал долго, безутешно. Вачик бросил костыли, присел к нему, обнял, целовал его, шептал что-то по-армянски, говорил по-русски. Но можно ли успокоить человека, потерявшего вдруг всё. Всё самое ценное в жизни – семью. Стэцько звал батьку и мамку, называл сестёр по именам и плакал, сотрясаясь всем телом. Руки его дрожали, лицо налилось кровью, а он кричал, выли и не мог остановиться. Вачик растёр ему щёки и тоже, уже плача, попросил – остановись, родной мой. Стэцько вдруг замолчал, умылся снегом, вытер лицо рукавом бушлата и ещё долго молча смотрел туда, где прошло его детство и началась молодость.

В Лебедине он навёл справки, узнав, что хутор вместе со всеми жителями был уничтожен немецкой танковой колонной, все жители его захоронены там же в братской могиле, а те, кто эвакуировался из деревни эшелонам на Урал, попали под бомбёжку, и выживших не осталось.

Судьба распорядилась так, что остался Стэцько один на всём белом свете. Остался добрым человеком. Инвалидом в двадцать четыре года. Так вышло, что ближе Вачика никого у него не было. Но у Вачика своя жизнь, выбирать было не из чего.

Вечером того же дня друзья засыпали на полке вагона под мерный стук колёс. Ехали в Харьков.

Стэцько уснул крепко, словно умер, провалился в небытие. А когда проснулся, серые рассветные окна возвестили о начале нового дня. Дня, который явился новым рубежом, разделившим жизнь на «до» и «после». Только это «после» виделось унылым безвременьем, не сулившим ничего радостного и счастливого. Одиночество подкатывало к горлу, душило, не давало полноценно вздохнуть.

– Вачик, я останусь в Харькове навсегда, – прошептал тихо Стэцько. Поставь тебя на поезд в Баку и брошу здесь якорь. Я не смогу уехать отсюда, здесь

воздух моего детства и земля, где остались мои навсегда. В Харькове как-нибудь обустроюсь, город большой, а домой рукой подать. Мне надо будет там часто бывать. Так уж мне на роду написано. Да и быть по сему.

Они расстались этим же вечером. Поезд уходил с шестой платформы. Вачик плакал. Стэцько старался его утешить, да что-то не очень получалось. А когда поезд тронулся, Вачик заскочил на подножку, неуклюже перехватив костыль, и долго махал им другу на прощанье. Стецько повернулся на своей дощечке и смотрел уходящему поезду вслед. Слёзы застили глаза. Он плакал навзрыд, по сути своей ещё юноша, которого во всём белом свете некому было утешить и сказать хотя бы одно ласковое, приветное слово. Обессиленный, прямо здесь, на платформе, подкатив поближе к киоску, он облокотился о него, вынул папироску, закурил и уснул в изнеможении.

Вдруг он почувствовал поцелуй, а может быть, и нет, но что-то влажное коснулось его губ. Был ли это сон? Стэцько пробудился, открыл глаза. Перед ним стоял несчастный пёс, дворняга с умными и грустными глазами. Он лизал Стэцька в губы, едва повиливая хвостом, будто сияясь сказать: «Ну что ты, брат, видишь, как оно бывает, не только ты одинок».

– Мне тебя даже угостить нечем, – потрепал его Стэцько за ухом.

Кругом было холодно, слякотно и темно. Поезда приходили и уходили, пассажиры сновали по перрону. Пробирало лёгким морозом. Стэцько направился к зданию вокзала, а собака осталась у киоска – всё же надёжней, сытней.

Сердобольная тётка-дежурная помогла Стэцьку добрым советом и предложила остаться до утра в зале ожидания. А рано утром, едва забрезжил рассвет, вышел Стэцько на привокзальную площадь, постоял, огляделся, сплюнул на руки, растёр: «Эх, была не была», схватил покрепче свои толкачики и покатился в новую жизнь.

А новая эта жизнь снова пнула Стэцька сапогом под дых: в военкомате он узнал, что отец его, Андрий Чалый, погиб ещё осенью сорок первого. Судьба сделала последний круг и остановилась на нуле. К вечеру Стэцька определили в общежитие для инвалидов. Вроде бы надо было жить, но зачем и для кого? В чём теперь был смысл жизни, он решительно не понимал. Перебравшись с дощечки на кровать, стоявшую в углу комнаты, он улёгся поудобнее и, не включая свет, всматривался в пляшущие на потолке отблески фонарей. Складывал из меняющихся теней фигурки. Всё пытался связать воедино произошедшее и смыслы. Но они никак не сплетались, существовали порознь. На дворе подывал февральский ветер. В комнате было уютно и тепло, сон медленно подкрадывался к нему. Наконец Стэцько уснул. На устах его замерла горькая улыбка.

– Иди-ка ты, братец, на Благбаз. Теперь вся жизнь там. Глядишь, что-то полезное найдёшь, может, и подработку какую, хотя какая подработка без ног-то, да мало ли? – увещевала Стэцька поутру солдатка Настасья. Это была битая жизнью и войной бой-баба, лет на пять старше Стэцька. И хотя на её почти тридцатилетнюю жизнь выпало горя куда больше, чем у многих иных вместе взятых на всю жизнь приходится, сила воли её не покинула. Беды её закалили, сделали жёсткой, но сердобольной бабьей души она не утратила.

На общей кухне было полно народу. Кто знакомился дружелюбно, а кто недовольно и слышно бормотал себе под нос: «Этого ещё здесь не хватало, безногого». Стэцько не обращал на них внимания. Думал – тьфу да и растереть.

– А что у нас Благбаз? – поинтересовался Стэцько у Настасьи.

– Благовещенский базар. Это по старинке так, а вообще Центральный рынок. Тут даже на твоей дощечке десять минут ходу. Только, хлопец, рот там не разевай и купюры свои держи поближе к телу. Тела-то немного осталось, схватить легко.

– Ядовитая ты баба, Настасья, и грубая, – усмехнулся Стэцько, – хотя, кажется, добрая.

– Добрая, добрая, на всех добра не хватит, ступай уже, не толкись под ногами, – ответила Настасья.

Села в углу кухни на табурет, у плиты с кипящей вываркой, и разревелась. Стэцько вышел, постоял задумавшись посреди общего коридора, едва освещаемого единственной лампочкой, отправился к себе в комнату и стал собираться на Благбаз.

Он вернулся лишь к вечеру, уставший, голодный и слегка выпивший. Пришёл, умылся и лёг. Вечер брал город в свои объятия, на улицах зажглись фонари. Стэцько лежал на застланной кровати, закинув обе руки за голову, жевал разломанную обгоревшую спичку и глядел в потолок, следя за тенями раскачиваемых ветром деревьев. Вдруг в комнату постучали. Он не ответил. Затем постучали ещё раз. Стэцько не ответил снова. После опять раздался стук и нервный голос Настасьи:

– Открой, Степан, я знаю, ты дома. Видела, как ты пришёл. Открой, поговорить надо.

Он слез с кровати, уселся в свою тележку и отпер дверь.

Настасья была трезва, стояла в дверном проёме и глядела на Стэцька сверху вниз:

– Может,пустишь?

Стэцько посторонился.

– Я вот маленько поесть принесла. Сядем? Я свет зажгу.

Они сели за круглый обеденный стол. Настасья достала четвертинку, краюху чёрного хлеба, сало и пару яблок на закуску.

– Чаёк-то хоть найдёшь? – поинтересовалась она.

– Чаёк найдём, даже с сахаром, – усмехнулся Стэцько.

Сало было пряное, хорошо просолено, с чесноком и перцем. По комнате разнёсся душистый аромат. Настасья хозяйничала у стола, а Стэцько уселся на табурет, соображая, к чему бы всё это.

Налили, выпили.

– Я чего пришла, – начала Настасья. Съезжать я буду отсюда. Так получилось, по делам семейным отошла мне маленькая хата здесь, за городом, в Высоком, может, слышал? Вот я все документы выправила, бумаги наладила, всё готово. Только взять и съехать осталось. Ну, а баба-то из меня какая? Не баба я, а так, полбабы, ранение в живот, вся искорёжена, раздеться перед мужиком

стыдно. Детей до войны Бог не дал, а теперь и не будет. Смотрю, я на тебя, Степан, и думаю: хороший ты, и глаза, вон, добротой светятся. Так лицом не обманешься, вроде всё про тебя знаю. В общем, не бабье это дело, но, чего уж там, перешагну через себя, – одному житьё поганое, а вместе, глядишь, подопрём друг дружку, может, уживёмся-то вдвоём под одной крышей?

Настасья замолчала и мягко положила обе руки на стол.

– Как думаешь, Степан Андреич?

Стэцько молчал. Вроде и не нравилась ему Настасья вовсе, а как жить с человеком нелюбым? Но понимал, однако, что и свою-то жизнь выстраивать надо. Как? С кем? Да и кто он-то? Не Стэцько уже, не Степан, а пол-Степана.

– Давай сделаем так, Настасья, – сказал он подумав, – сейчас поздно уже, ты ступай к себе, а я лягу да и решу всё, ночь длинная. Завтра тебе отвечу, да или нет.

Стэцьку полночи не спалось, всякие мысли лезли в голову и воспомина-ния. Глядел на Софийкину карточку, лежал, вздыхал, курил в постели. Уснул к утру, а проснулся от топота и беготни. В коридоре ругались, кто-то из баб орал на кухню: «Боже, я забыла за бульон!». Сквозь закрытую дверь доносился кухонный чад. Стэцько уселся на кровати, погладил ладонью свою трёхдневную щетину и закурил. А когда вышел в коридор, тут же наткнулся на Настасью.

– Доброе вам утречко, Степан Андреич, уж не взыщите за любопытство, что-нибудь надумали? – поинтересовалась она.

– Надумал, – ответил Стэцько. – Я согласен.

Настасья хата была невелика – спальня да светёлка. Глинобитный пол, настоящая русская печь и крохотные окошки со ставенками. Тяжёлые балки пересекали низкий, нависший над головой потолок. Войти в дом можно было пройдя небольшую террасу. Входная дверь находилась сбоку.

Она вела в сенцы, а оттуда уж в покои.

Сад был, однако, замечателен. Он был велик и позаброшен. Старые, казалось, вековые яблоневые деревья, сливы и вишни утопали в зелени молодой поросли дубов и елей. Границы сада обозначали неухоженные заросли малины, кусты жасмина и сирени. В глубине его стоял покосившийся и почерневший от времени сарай, а подле – глубокий колодец под крышею и с колесом.

Настасья со Стэцьком поселились в доме в начале весны, когда талая вода напитывает землю влагой, когда по утрам уже громко щебечут птицы, а солнце крепко пригревает в середине дня, и хочется молча посидеть на завалинке. Приехали в одночасье со своим небогатым послевоенным скарбом, у каждого по вещмешку, да кое-какие мелочи – чайник, тазик, миски кухонные. Вот и всё. С этим и вошли в новую жизнь. Поселились, как добрые соседи. Настасья отдала светёлку Стэцьку, а сама в спальне – места немного, однако уютно, да и уединиться можно – задёрнул шторку, и вроде сам. Светёлка-то, как ни крути, проходная. Приехали, значит, расположились, отметили рюмкой с нехитрой снедью новоселье, и зажили. Вместе – не одному, вместе есть к кому прислониться. Есть кому помочь, и есть кто тебе поможет. Так и потекли дни одинаковые, похожие друг на дружку, но мирные и покойные. Засыпали к ночи под

звук проезжавших вдали поездов и лай деревенских собак, а вставали поутру с криками петухов, пением и стрекотом птиц. Первая мирная весна, от начала и до самых тёплых июньских деньков.

Стэцько на своей дощечке хозяйничал в саду, управлялся браво, и дело спорилось. Наладил себе пилу, приноровил лопату на изогнутый черенок, да так день за днём выпилил и подрыл все дубки и ели на участке, а остатки корневищ облил керосином и спалил. Кое-что выкорчевал из старых деревьев, посадил новые, а ещё смородину, крыжовник и куст калины. Настасья раздобыла чернобрывцев, и перед домом расцвёл яркий оранжево-жёлтый ковёр. Денег было в обрез, но кому же жалиться в голову придёт после стольких-то бед? Знай живи и жизни радуйся, какая есть. Жили и радовались, с соседями не ссорились. Всё путём. Настасья раздобрела, стала спокойной. Все былые беды отступили в далёкое прошлое, да и Стэцько свыкся. Одного ему не доставало – гармонии. Всё твердил о ней мечтательно, словно дитя. Настасья баба не скупая, да и жили они одним кошельком, возьми и мотнись как-то в город. Приехала к вечеру, вошла в хату с сумками, а под калиткой коробку оставила.

– Тяжело, – говорит, – ступай, Стёпа, короб принеси.

– А что там? – поинтересовался Стэцько.

– Да всякое, пойдёшь заберёшь, устала я.

Подкатился Стэцько на своей дощечке к калитке и обмер, – в коробке была гармонь. Не новая, видать, с базара, зато трофейная.

– Видишь, Настя, добрая ты, как я и говорил прежде, – сказал ей Стэцько, вернувшись в хату. А ты говорила – на всех добра не хватит. На всех и не надо. Да и со всеми не надо доброй-то быть.

Прильнул он к ней, ласково обняв.

– Что, гроши копила? На последние взяла? – спросил он наконец.

Настасья только кивнула, растрогавшись.

И вот с гармонью-то началась у них новая жизнь. Поначалу соседи прослышали музыку из окон. Заходить стали. Сперва без спросу, из любопытства. После приносить с собой чего на стол, чтобы посидеть. Вроде даже и сдружились. Если подсобить – завсегда пожалуйста. Прежде ведь как было? Живут себе двое калек, да и нехай живут себе, какое кому до них дело. А теперь вдруг в них людей увидели, подобрали, душевней стали. К удивлению своему обнаружили, что калеки эти, Настасья со Стэцьком, во многом сильнее и краше их, не калек. Стал настасьин дом почитаем в посёлке, а Стэцько как-то исподволь, сам того не желая, сделался его хозяином. Любили их. У многих ведь недоброжелатели или завистники, а у них не было. Никто худого слова не скажет.

Так минул год. Стэцько засобирався съездить к Вачику и подбивал к тому Настасью. Та сопротивлялась, не хотела. Стэцько уговаривал.

– Да кто я тебе, жена, что ли? Езжай сам. Погостишь и вернёшься – упорствовала она.

Стэцько, однако, не отставал и всё упрашивал.

Как-то за завтраком в окошко постучали. Настасья выглянула. У окна стояла Андрейчиха – почтальонка. Баба ладная, голенастая и смазливая.

– Чалому письмо. Примете?

– Приму.

– Да нет, тут Степанова роспись нужна и лично в руки.

Вышел Стэцько, расписался, получил. На конверте было несколько адресов и штампов. Что-то было перечёркнуто и стояла печать «Выбыл». Но письмо было адресовано ему. Он пытался разобраться – не получилось. Сердце тревожно застучало-задёргалось под рёбрами.

– Ну что ты, боишься? – спросила Настасья.

Стэцько помолчал и надорвал конверт. Вынул из него маленький листок. Прочёл, как-то осунулся разом и затрясся в беззвучном плаче. Настасья не лезла, молчала. Да и чего терзать и так истерзанную душу. Пусть выплачется.

– Вачик умер, – сказал Стэцько. Теперь всё. Нет у меня вообще никого. Одна ты.

Шёл, между тем, тысяча девятьсот сорок седьмой год.

А на следующий год, раннею весною, сидя на завалинке, Настасья заявила Стэцьку:

– Знаешь, Стёпа, жизнь штука короткая, лихая. Поди знай, как оно сложится. Давай распишемся. Глядишь, помру. Так хоть дом тебе отойдёт на законных основаниях. Будет тебе где жизнь скоротать.

Стэцько усмехнулся, затушил аккуратно папироску о крышку консервной банки-пепельницы, задумался.

– Чего молчишь-то? – не отставала Настасья.

– Станешь Чалой? Распишемся.

– Тебе-то на что? Детёв-то всё равно не будет.

– А так, чтобы жёнка моя под мужниной фамилией ходила, – вздохнул Стэцько. Станешь?

– Стану, – ответила Настасья.

Свадьбу отыграли славную. Народу было невесть сколько. Почитай вся улица. Никита-столяр подарил Стэцьку трон собственной работы. Ладный трон, с красивою резной короной над спинкой и подголовником. Дарили щедро: кто в дом, кто деньгами. Гуляли долго, три дни. С ряжеными, со смехом, с плясками. Стэцько отвёл душеньку на своей гармонии. Эх, как душа рвалась из груди. С присвистом. Сидели в саду. Столы посбивали длинные, накрыли льняными скатертями, лавки принесли. Траву дня за три до свадьбы покосили и рядом сушиться оставили. Запах кругом, аж дурно от воли и радости. Птицы стрекочут, солнце греет добре, пчёлы жужжат. Кому водки, а кому воды студёной колодезной. Худо ли?

А что после? А после жизнь обычная, завсегдашняя, как прежде. Только одна беда – Настасья будто в воду глядела, али, может, накликала, – кому это ведомо? Стала она вдруг быстро таять, прямо что на глазах, потом слегла. Помучилась трошки, да и отдала Богу душу. Остался Стэцько один-одинёшенек. Вдовец вдовцом в свои тридцать с небольшим лет.

Вышло так, что никого и ничего у него, кроме гармонии, не осталось. Жизнь вроде долгая впереди, а будто закончилась. Годы отрывным календарём полетели – всё одинаковые, постылые, никчёмные. Дома Стэцько всё наладит.

Славно в хате и в саду. Чисто, подметено, уютно. Да не сидится-то на месте. Стал он по электричкам ездить, музыку играть, песни петь. Всегда тверёзый. Разве что вечером с хлопцами в чайной мог расслабиться. Да и то редко. Чайная у вокзала, грех порой не зайти, особенно зимними студёными вечерами, когда, отворив дверь, изнутри било в нос гречневой кашей с тушёнкой и обдавало тёплым ядрёным паром. В чайной ему рады, всяк за стол зовёт. Бабы у раздачи ему обед нередко бесплатно давали. Он противился. Бывало, деньги на кассе оставлял.

– На, возьми, – говорит, – Катерина, целковый. Вы хоть и сердобольные, да долг платежом красен.

– Иди ты, – отнекивалась та.

Стецько клал бумажку да откатывался прочь.

И ничего ровным счётом в жизни его более не происходило. Съездил раз на братскую могилу в родные места. А после 1965 года, когда учредили День Победы, бывал там на 9 Мая ежегодно. Да немного-то ему ездить оставалось. Он вдруг взял и помер посреди весны, в начале 70-х. А когда приехали его забрать, всё честь по чести, осмотрел участковый его карманы, нашёл там инвалидное удостоверение, а в нём растрескавшуюся старую, пожелтевшую карточку. Поглядел – красавица, а на оборотной стороне еле заметная выцветшая надпись: «Моему Стёпушке от любящей Софии. 1941».